

G a i s e r K. Die plautinischen Bacchides und Menanders Dis
Exapaton. - Philologus, 1970, t. II4, S. 57; G r i e -
lia R. Sul problema ..., p. 61; A l f o n s i L. Dal Dis
exapaton alle Bacchides. - Aegyptus, 1969, t. 49, p. 77.

8 Квеста обращает внимание на это отличие, но не придает ему значения, полагая, что *sequor* введено Плавтом только для того, чтобы дополнить стих (Q u e s t a C. Aloune struttura sceniche di Plauto e Menandro, p. 193).

Е.Г. Рабинович

К ВОПРОСУ О ВОЗНИКНОВЕНИИ АНТИЧНОЙ БИОГРАФИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Наиболее яркой особенностью посвященных античной биографии исследований представляется постоянное использование термина "биография" (или "жизнеописание"), ретроспективно навязываемого античным авторам. Так, известная фраза Плутарха: *οὗτοί ἱστορίας τράφομεν, ἀλλὰ βίους* (Alex., I) обычно переводится: "Мы пишем не историю, а жизнеописания", хотя буквально здесь сказано: "Не сведения мы записываем, но жизни". Никто не вложил бы в уста Плутарху выражение "эллинистическая эпоха", а вот говорить о жизнеописаниях ему позволительно. Неясное словоупотребление редко сочетается со строгостью концепции. Результатом терминологической неопределенности, царящей в исследованиях биографического жанра, явился отказ Диля от целостного описания жанра, коль скоро нам неизвестны его истоки и недоступно его определение.¹ О невозможности установления жанровых границ пишет также С.С. Аверинцев.² Итак, расплывчатый термин означает не менее расплывчатый феномен — да и нужны ли термины для описания столь безграничных понятий? Мы полагаем целесообразным заранее оговорить, что в этих заметках речь пойдет о той группе текстов, которые самими древними назывались *βίοι* или *vitaes*, что соответствует столь же употребительному русскому 'жития' — этот жанр мы вправе назвать

биографическим, а создателей его биографами. Единственное ограничение античного термина будет заключаться в изъятии из числа житий немногочисленных автобиографий, которые будут проанализированы в другой работе.

Биографический жанр возник в хорошо изученную эпоху (IV в. до н.э.) на фоне развитой литературы, обладавшей даже и нормативной поэтикой, наверняка знакомой первым биографам, которые принадлежали к кругу перипатетиков. Можно ли поверить, что образованнейшие люди своего времени, сами того не заметив, создали новую разновидность литературы и что биография сама собой выкристаллизовалась из некоего "дебиографического" раствора, насыщенного "предбиографическими" формами? Подобные концепции (а они существуют) ставят под сомнение все, что мы знаем о греческой культуре IV в. до н.э. и о перипатетиках в частности. Да и всеобщая история литературы свидетельствует, что жанр обычно рождается (создается, импортируется, изымается из фольклора) в конкретных условиях, имеет конкретного основоположника или основоположников и стойкую норму, сознательное или бессознательное забвение которой означает гибель жанра. Первый биограф известен — это Аристоксен Тарентский,³ известна и его культурная среда, кратко характеризуемая ниже.

Усиленное развитие этики, начавшееся уже во времена Сократа, не было результатом имманентного развития философии — те же вопросы, хотя и по-иному, трактовались на сцене, в судебных речах и в исторических сочинениях. Замкнутая община ограничивает сферу доозволенного и сферу возможного: не только соблюдение полисных норм, но даже их нарушение в сумме дает не столь уж многочисленные этические варианты. Однако развитие античной цивилизации в целом характеризуется последовательным расширением границ, обычно определяемых современной наукой как "кризис" и всегда сопровождающимся расцветом культуры. Жизнь в широком и многообразном мире эллинской свободы рождала нравственные проблемы, ответом на которые уже не могли быть ни памятки Гиппарха, ни сентенции семи мудрецов — эту задачу взяли на себя искусство (трагедия) и философия, сначала умозрительная и рефлексивная, а затем поставленная Аристотелем на подлинно на-

учную основу, поскольку Аристотель первым сделал предварительное изучение и описание фактов необходимой базой любого обобщения. Обобщение не только основывалось на фактах, но и сопровождалось этими фактами – соответственно, создание перипатетической этики предполагало сбор сведений о нравах, т.е. преимущественно анекдотов и сентенций, которые должны были служить иллюстрацией философского обобщения. Тенденция к всеобъемлющему охвату, к созданию тезауруса, столь характерная для перипатетической школы вообще, здесь, конечно, сохранялась. Кажется, будто отсюда не так уж далеко до жития, главным элементом которого и является анекдот, однако "изучение признаков, отражающих душу человека" (Plut., Alex., I), не привело перипатетиков к созданию интересующего нас жанра, поскольку это противоречило бы нормативной поэтике Аристотеля.

Обращаясь к "Поэтике", мы находим там пассажи, которые, на первый взгляд, могли бы служить рекомендациями будущим биографам (например, VI, 1449^в, 36; VI, 1450^в, 7) в основном на предмет использования характерных сентенций. Правда, далее Аристотель относит еще не существующее житие к области исторического (единичного): "А единичное – это, например, что сделал или претерпел Алкивиад" (IX, 1451^б, 10).⁴ Хотя параграфом ниже отмечает, что реальность и вымысел одинаково могут быть предметом литературы (1451^б, 25), а, значит, героям может быть и Алкивиад. Требуя последовательности в описании характера (XV, 1454^а, 24), Аристотель со всей определенностью отдает предпочтение сюжетной стороне произведения (VI, 1450^а, 15 *et seqq.*), что снижает престижность биографического жанра, лишенного сюжетных хитросплетений, однако не отменяет его – и все же дальше следует прямой запрет: "Сказание бывает едино не тогда, как иные думают, когда оно сосредоточено вокруг одного <лица> , – потому что с одним <лицом> может происходить бесконечное множество событий, из которых иные никакого единства не имеют: точно так же и действия одного <лица> многочисленны и никак не складываются в единое действие. Поэтому думается, что заблуждаются все поэты, которые сочиняли "Гераклею", "Фесиду" и тому подобные поэмы – они думают, что раз Ге-

ракл был один, то и сказание <о нем> должно быть едино" (VIII, 1451^а, 16–22). Итак, жизнь не может быть сюжетом, даже если это жизнь Геракла: повествование, как и трагедия, строится вокруг единого действия (Ibid., 1451^а, 30). Единственным допустимым сюжетом остается сюжет драматический. Самый факт существования такого культурного феномена, как биографическое предание (сумма сведений о жизни некоего героя, запечатленная в памяти культуры), Аристотель признает, будь то легенда о Геракле или об Алкивиаде, но в литературу он это предание согласен допустить лишь в разъяром на "действия" виде. Стало быть, для последовательного перипатетика анекдоты и сентенции не обобщаются в житие. Нормой остаются два вида обобщения (вполне традиционные для родины Софокла и Платона): 1 – обобщение в трагическом сюжете, где характер второстепенен, и 2 – обобщение в философском трактате, иллюстрированном частными случаями (т.е. "Этика" Аристотеля). Однако первым биографом не мог бы стать человек, вовсе чуждый школе Аристотеля и не причастный составлению этического тезауруса – он не обладал бы обобщаемым в житие материалом. Нужен был непоследовательный перипатетик, "гость Ликея" – таковым и оказался Аристоксен Тарентский, покинувший ради Афин одну из последних пифагорейских общин Великой Греции.

Чрезвычайно существенно то обстоятельство, что, примикинув к перипатетикам, Аристоксен сохранил, если можно так выразиться, пифагорейские амбиции – занимался преимущественно музыкальной теорией, обвиняя Платона в неоговоренных заимствованиях пифагоровой мудрости. Он, впрочем, принял участие в факологических разысканиях перипатетиков, составив "Исторические записки" и "Разрозненные заметки", часто цитируемые поздними биографами. Однако он же сделал жизнь сюжетом и составил первый в мире биографический сборник, включив в него жития Пифагора и Архита, а также Сократа и Платона (сравнение было не в пользу последних), т.е. преступил перипатетическую норму, воспользовавшись перипатетическим материалом.

Как уже отмечалось выше, биографическое предание было бесспорным фактом античной культуры, однако крайне редко от-

ражалось в литературе полностью. Биографические повествования имеются у Геродота, но они входят в текст большего объема и совсем иного назначения. "Биографичны" охаянные Аристотелем "Фасида" и "Гераклеида", но здесь разумнее говорить не о био-, а о төографии. Аристоксен первый ограничил предмет повествования биографическим преданием о реальном лице, поставив пределами фабулы пределы жизни и сделав содержанием сюжета течение жизни, что соответствует двойному значению слова *βίος* — образ жизни, срок жизни. По классификации "Поэтики" житие может быть отнесено только к историческому повествованию, в котором "приходится описывать не единое действие, а единое время и все в нем приключившееся с одним или со многими" (XXII, 1459а, 21); однако в этом случае житие должно рассматриваться как подготовительный материал, и вместо порядка "сбор анекдотов и сентенций — их классификации — их обобщение в доктрину" мы получили бы порядок "сбор биографий — их расчленение на анекдоты и сентенции — классификация этих фрагментов — их обобщение в доктрину", поскольку уже имевшиеся фиксации биографических преданий использовались именно таким образом. Создание жития как итогового текста, объединяющего и обобщающего подготовительные, приравнивает его к другим итоговым текстам, т.е. к поэзии и философии. "Подобным единому и целому живому существу" (Poet., XXII, 1459а, 21) здесь оказывается единое и целое живое существо — человек.

Столь новаторский прием должен все же иметь некий источник, однако находящийся не в перипатетической традиции, нарушенной и преобразованной Аристоксеном, а в иной традиции, хорошо ему известной и вряд ли учтенной в "Поэтике". Безуспешность (или чрезмерная успешность) поисков литературного прототипа биографии объясняется, на наш взгляд, именно его отсутствием. Следовательно, речь может идти только о некоем культурном явлении, и, действительно, существует культурная традиция, рассматривающая жизнь человека как единое действие и хорошо знакомая Аристоксену — это пифагореизм и пифагорейское жизнестроительство.

Жизнестроительство — весьма распространенный культурный феномен и в общем виде представляет собой организацию челове-

ком собственной жизни по плану, типологически сходному с нормативной поэтикой. Нормы жизнестроительства не обязательно противоречат общепринятым социальным нормам, но обязательно от них отличаются — так письменный текст, даже будучи максимально приближен к устному высказыванию, никогда не бывает ему тождествен. Таким образом, нормативной поэтикой жизнестроительства является индивидуальная норма поведения (этикетная установка), наложенная на общепринятый этикет (Сократ) или противопоставленная ему (Диоген), но всегда носящая демонстративный характер, поскольку для жизнестроителя собственная жизнь есть реализация умозрительной доктрины. Основой первой европейской жизнестроительной доктрины было учение о метемпсихозе — концептуальный источник пифагорейских этикетных норм. Метемпсихоз есть воплощение вневременной души в бесконечном ряде конечных жизненных циклов, последовательно детерминированных. В этом смысле пифагорейская жизнь может быть описана в терминах "Поэтики" (XVIII, 1455б, 24-26), обладая завязкой, часто находящейся "вне драмы", поскольку всякое рождение обусловлено предыдущей жизнью, и обладая также развязкой, т.е. "переходом к счастью", — это и есть пифагорейское жизнестроительство, положившее начало прочим обусловленным доктриной индивидуальным этикетам. (Любопытно отметить, что пифагорейская концепция жизни включала в себя даже нечто вроде понятия биографического сборника — таковым была память о прежних воплощениях, дарованная Пифагору богами и рассматривавшаяся как желанная награда.)

Итак, Аристоксенов сборник можно описать как пифагорейское оформление перипатетического материала. Подобно классическому труду Платона, сборник этот преследовал, без сомнения, и сопоставительную цель: судя по сохранившимся огрывкам, жития Пифагора и Архита описывали истинных любомудров, а жития Сократа и Платона носили едва ли не разоблачительный характер — во всяком случае, именно со ссылкой на Аристоксена даны у Диогена Лазертского все порочащие Сократа анекдоты. Каждый индивидуальный этикет, отраженный в житии, должен был находиться в сравнительном ряду других этикетов — начиная с

Аристоксена, желательной нормой является не одиночное житие, а биографический сборник, что может быть признано одной из наиболее существенных особенностей жанра и отчасти объясняет успех его у перипатетиков, оценивших возможности этой разновидности этического тезауруса.

Новорожденный жанр, совместивший характеристики "истории" и "поэзии" (в терминах Аристотеля), имел поучительно-развлекательное назначение, уподобляясь в этом смысле ученым поэмам, которые Аристотель литературой не считал (*Poet.*, I, 1447^b, 15), но которые тем не менее осознавались в качестве таковой. Житие было наиболее доступным видом этического обобщения и для читателя, всегда предпочитающего познание через конкретный пример, и - что весьма существенно - для тех, кто должен был удовлетворить читательский спрос, поскольку сочинить трагедию (даже плохую) чрезвычайно трудно, а составить биографический сборник (особенно посредственный) сравнительно легко. Распространенность и устойчивость жанра прямо пропорциональны его воспроизведимости, а воспроизведение биографического жанра было упрощено до предела. Поэтому в отличие от самозванных творцов не существующих ныне жанров античной литературы биографический жанр, сохранив Аристоксенову норму, постоянно расширяет круг авторов и читателей, а также героев.

Проблема героя при анализе античного биографического корпуса оказывается одной из ключевых. Так, расцвет жанра в имперскую эпоху вполне основательно связывается с расцветом политического жизнеописания, т.е. опять-таки с выбором героев. Можно заметить две тенденции, присущие от двойственной познавательно-развлекательной природы жития и отражающиеся на составе биографического корпуса. С одной стороны, это тяготение к универсализму и к информативной преемственности - отсюда увеличение объема новых сборников за счет поглощения предыдущих (так компилиативный труд Диогена Лаэртского "понижает спрос" на Неанфа или Гермиппа, вытесняя их в сокращения фрагментов). С другой - это постепенное расширение списка "непоглощаемых" героев, новые жития которых не отменяют предыдущих.

Писать о Цезаре и читать о Цезаре всегда интересно, ибо никогда не бывает лишней биография легендарной личности. Легендарность далеко не всегда находится в прямой пропорции с реальными заслугами: например, Диоген легендарнее Аристогеля, Катон легендарнее Номпея и т.д. Категория легендарности относится к числу культурных категорий, будучи пересечением действительной жизни героя, восприятия этой жизни современниками и потомками (биографического предания) и, наконец, отражения этого предания в собственно биографии и в зависящих от биографического жанра текстах.

Это возвращает нас к одному из источников биографического жанра, а именно к пифагорейскому жизнестроительству. Особенность Пифагора как легендарного философа, философа *par excellence*, заключалась в том, что все его поступки были обусловлены единой доктриной, выступавшей в качестве нормативной поэтики жизнестроительства. Отсюда правило составления философского жития - поведение философа обусловлено доктриной. Индивидуальный этикет мудреца оказывается, следовательно, практической реализацией декларированной системы: поэтому, например, жития киников похожи между собой, но не похожи на жития пифагорейцев. Такое тиражирование этикетных установок, естественно, привлекает интерес биографа и читателя к родонаучальникам соответствующих традиций, особенно если эти традиции предполагают этикетную экстравагантность: житие киника занятое житием перипатетика, а из киников наиболее занятен Диоген. Если биограф недоброжелателен к своему герою, то поведение последнего сохраняет жизнестроительную последовательность, меняя лишь качественную характеристику этой последовательности - лжеэрфорх Александр у ЛукIANA последователен в порочности и лживости. Итак, жизнь философа характеризуется его неизбежной ориентацией на биографическое предание, в котором он будет фигурировать как живой (плохой или хороший) пример своей же собственной этической доктрины, ставящей четкие границы его нравственным возможностям, - во всяком случае тем, которые отразятся в предании и в житии.

Рядом со строго детерминированным философским этикетом этикет политический может показаться лименным системы. Поли-

тик обладает значительной этикетной самостоятельностью: доктрина Диогена предопределяла его рваный плащ, но самодержавные амбиции Гальбы отнюдь не предопределяли его староримского аристократизма. Пример Гальбы весьма характерен как пример "нелегендарного героя". Его реальная жизнь включает в себя поступки двух видов - исторически значимые и этикетно значимые. Исторически значимые поступки детерминированы внешними обстоятельствами, этикетно значимые - выбором определенной и существующей быть опознанной современниками и потомками этикетной традиции. Исторически значимые поступки могут совершаться из этикетных соображений (выбор Гальбой наследника), но чаще сами нарушают последовательность этикета. В целом этикет "рядового" политика может быть описан как ограниченно действующий, но опознаваемый, а корпус политических биографий оказывается сводом по преимуществу "опознанных" характеров. Занимательность любого политического жития в том, что характер (выбор этикетной традиции) опознается лишь в процессе чтения: "философ-стоик" - довольно подробное предварительное описание личности, а "римский император" - определение величественное.

Поскольку, как отмечено выше, легендарность не находится в прямой связи с историческими заслугами, источником ее может быть лишь этикетно значимое поведение героя. Легендарные личности, естественно, находятся в меньшинстве, поэтому целесообразно рассматривать легендарность как некое отклонение от описанной выше рядовой нормы, условно говоря, как некую "патологию этикета". "Нормальный" политический этикет характеризуется двумя параметрами: качественным (опознаваемым единством) и количественным (ограниченностью). Патология этикета есть нарушение одного из этих параметров. Существуют, следовательно, два источника легендарности, которые условно могут быть обозначены как гипертрофия этикета (нарушение ограниченности) и этикетный плюрализм (нарушение единства): в первом случае герой является собой образец, во втором - загадку.

I) Гипертрофия этикета политического есть норма этикета философского, т.е. жизнестроительство. Дентель этого типа -

всегда неудачник, обладающий, однако, огромным культурным влиянием и вошедший в память культуры (в том числе в биографические сборники) в качестве примера добродетели (Катон) или злодейства (Нерон). Легендарные личности этого типа среди политиков редки, поскольку гипертрофия этикетного поведения вступает в противоречие с политической практикой, однако само их наличие указывает на распространенность в античную эпоху различных форм жизнестроительства, приобретшего новую актуальность с наступлением христианства ишедшего наиболее яркое отражение в житиях святых.

2) Этикетный плюрализм представляет собой специфическое явление именно в политической практике и может подразделяться на два подвида: а) смена этикета и б) совмещение этикетов. Возможность смены этикетов привлекала внимание уже одного из первых эллинистических биографов - Гермилла, написавшего "Жития мужей, перешедших от любомудрия к тирании или династическому владычеству". Отражение смены этикета в житии хорошо известно по политическим жизнеописаниям Светония, посвятившего специальные рубрики поведению своих героев до и после прихода к власти. Наиболее ярким ореолом легендарности среди легендарных личностей этого типа окружен Август, однако можно предполагать, что и легендарная добродетель Тита оказалась таковой именно из-за предшествовавшей ей порочности. Если в случае смены этикета этикетные установки достаточно очевидны и загадочность персонажа связана с затруднительностью выбора "истинного" его характера, то случай совмещения этикетов открывает возможность не только описания, но и интерпретации, что намечает пути к углубленному психологизму романтической и неоромантической европейской биографии. Сравнительно простым примером совмещения этикетных установок ("римской принцип" и "философ-стоик") является Марк Аврелий, одним из самых сложных - Александр Македонский, любимый герой многих поколений биографов. Этикетный плюрализм далеко не всегда воспринимается биографическим преданием в качестве такового и зачастую способствует возникновению параллельных и противоречивых традиций, порой отражающихся в современных исследованиях уже в форме концепций. Так,

на редкость привлекательным объектом историко-психологических упражнений оказался для ученых и беллетристов император Юлиан, чья личность, по словам современного исследователя, сделалась "символом, который помогает людям понять себя",⁵ и в чьих противоречивых биографических легендах, действительно, отразилось все многообразие формы европейской рефлексии, далеко еще себя не исчерпавшей, как не исчерпал себя и биографический жанр.

П р и м е ч а н и я

¹ D i h l e A. Studien zur griechischen Biographie. Göttingen, 1956 (вступление).

² А в в р и н ц е в С.С. Плутарх и античная оиография. М., 1973, с. 22.

³ Wehrli Fr. Die Schule des Aristoteles. Basel, 1945, Bd II, Aristoxenes.

⁴ Здесь и далее цитаты из "Поэтики" даются в переводе М.Л. Гаспарова по изданию: Аристотель и античная литература. М., 1978 (текст "Поэтики" на с. III-163).

⁵ Gowing H. The emperor Julian. London, 1976, p. 235.

М.Е. Маржасина

ТРАДИЦИОННЫЙ РИТОРИЧЕСКИЙ ТОПОС "СЧАСТЛИВОЙ ПРОСТОЙ ЖИЗНИ" И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИЯ У ДИОНА ХРИСОСТОМА

Традиция идеализации отдаленных народов восходит к Гомеру (Ил., XIII, 5 сл.). Он упоминает гиацинтов, справедливейших смертных, питавшихся только мадоком. Гесиод в "Трудах и днях" (ст. 109-120) идеализирует "золотой век" и острова блаженных. Геродот (IV, 17-23) перечисляет многие народы, но